

УДК 82.09

**ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ
В «ЗАПИСКАХ» А. Т. БОЛОТОВА И Г. Р. ДЕРЖАВИНА**

А. Е. Кузнецов

Литературный институт им. А. М. Горького
кафедра русской классической литературы и славистики

«Записки» А. Т. Болотова рассмотрены в статье в контексте традиций эпистолярного жанра эпохи. Существующие представления о Болотове как прозаике расширены благодаря внимательному исследованию слога писателя, оказавшего значительное влияние на развитие литературного языка в России, а также на становление автобиографической и мемуарной прозы. Сравнительный анализ произведений А.Т. Болотова и Г. Р. Державина, близких по духу и жанру, помогает не только определить общие черты, характерные для литературного процесса XVIII столетия, но и черты индивидуального стиля прозаиков.

Ключевые слова: А. Т. Болотов, Г. Р. Державин, автобиографическая проза, авторский прием, индивидуальный стиль, язык, слог

Рассматривая «Записки» А. Т. Болотова в контексте традиций эпистолярного жанра эпохи, мы расширяем представления о Болотове как прозаике, оказавшем своей мемуарной прозой влияние на развитие литературного языка в России, на развитие русской автобиографической и мемуарной прозы, начало которой положено знаменитыми «Поучениями Владимира Мономаха». Сравнительный анализ произведения Болотова с «Записками» Державина, близких по духу и жанру, помогает определить общие черты, характерные для литературного процесса XVIII столетия, что П. Н. Сакулин называл чертами «культурного стиля эпохи» [11, с. 17].

Как известно, «Записки» Болотова написаны в форме условных «писем к другу». А дружеское письмо во второй половине XVIII столетия было неотъемлемой частью жизни русского образованного человека. В одном из своих исследований, посвященных дружескому письму как художественному явлению второй половины XVIII века, Р. М. Лазарчук отводит этому жанру важную «художественно-революционную роль» [9, с. 72] в литературном процессе. Порожденное бытом, дружеское письмо активно вмешивалось в литературный процесс, «направляя и ускоряя его, преобразовывая традиционную жанровую систему и создавая новые формы» [9, с. 72]. Эти новые формы воспроизводили не только стилистику дружеского письма, его структуру, но и столь свойственное эпистолярному жанру ощущение личности автора, индивидуальность восприятия и осмысления действительности. «Они узаконили письмо как литературный жанр, органическую форму прозы, вместившую в себя исповедь чувствительного сердца и документальный очерк, портрет и пейзаж, раздумья философа, публициста и описание, жанровые сцены и новеллы – все то разнообразное содержание, которым жила частная переписка XVIII века» [9, с. 72].

Воздействие дружеского письма на литературу коренным образом изменяло тогда и саму форму общения между писателем и читателем. Если в литературе классицизма господствовал «деспотический» монолог, где писатель неизменно выступал в роли учителя и наставника, а читатель оставался лишь пассивным слушателем, то новые формы письма выдвигали на первый план особые отношения между писателем и читателем. Это был не просто диалог собеседников. Это был доверительный диалог, свойственный дружескому письму и культуре сентиментальной дружбы. Он нес в себе некое таинство, интимное *ты* – особое слово, слово-обращение [1, с. 318]. В сферу подобных преобразований и была вовлечена мемуарная проза Болотова и Державина.

Выбрав для себя форму писем как наиболее свободную и личную, в которой «найдется, о чем можно писать и рассказывать и о чем как вам, так и потомкам моим можно будет не без удовольствия и любопытства читать и слушать» [2, т. 1, с. 10], А. Т. Болотов нашел свое слово-обращение к читателю. И говоря *вам*, обращаясь к «любезному приятелю» в начале каждого своего письма, Болотов устанавливает ту особую, доверительную интонацию, придерживаясь которой на протяжении всего автобиографического романа, он создает интимную атмосферу дружеского письма.

В отличие от «Записок» Болотова, в автобиографической прозе Державина нет такого ярко выраженного слова-обращения к читателю. Державин пишет свои воспоминания от третьего лица, хотя, как писал П. И. Бартенев в примечании к «Запискам» Г. Р. Державина, «иногда он повторяет уже сказанное, говорит о себе то в третьем, то в первом лице, ошибается в годах, не доканчивает речи» [8, с. V]. Избранная Державиным форма письма более всего отвечала его стремлению рассказать о себе и своей эпохе. Именно этой торопливостью можно объяснить шероховатость стиля, незавершенность фраз, даже кажущуюся небрежность речи. По этой причине в державинских «Записках» нет ощущения адресата или «учета отсутствующего собеседника», по терминологии М. М. Бахтина [1, с. 275].

Но в самой необработанности такого письма, его первозданности есть особая ценность. Это ценность «человеческого документа». Она объединяет «Записки» Болотова и Державина. Недаром державинские воспоминания (будто в унисон «Запискам» Болотова) имеют такое полное название: «Записки из известных всем происшествий и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина».

Г. А. Гуковский, разбирая творчество Державина, отмечал что, истоком такого скрупулезного интереса к человеческой жизни является «культ конкретного живого человека, а не отвлеченного, подвергнутого "разумному" анализу человека классицизма, культ человека, имеющего право на жизнь, свободу, мысль, творчество и счастье независимо от того, монарх он или подданный, дворянин или крепостной, – привел к изображению простых, обыкновенных людей, полнокровных и целостных, с их духом, душой и плотью, с их бытом, окружением, нравами, привычками, со всеми материальными мелочами их жизни» [6, с. 28]. Это внимание к подлинной жизни в ее «документальности» видим уже в том, как выстроено содержание, структурированное оглавлением.

В доказательство приведём пример оглавления начальных частей «Записок» у Болотова и Державина. У Болотова они звучат так:

Часть I – История моих предков и первые лет моей жизни.

Часть II – История моего малолетства.

Часть III – История моей военной службы.

У Державина:

Отделение I – С рождения его и воспитания по вступлению в службу.

Отделение II – Военная Державина служба до открывшегося а империи возмущения.

Отделение III – С помянутого возмущения по вступлению Державина в статскую службу.

Сравнительный анализ глав показывает общие подходы Болотова и Державина к формированию конструкции мемуаров. Авторы не отступают от канонической формы письма, сложившейся в русской эпистолярной культуре конца XVIII века, с ее характерной мозаичностью, где наблюдается «пестрота разных тем, пластов материала и стиля», их «беспорядок» и «неожиданное сталкивание» [13, с. 76]. Уже в оглавлении мемуаров прослеживается разнообразие тем и пластов материала. Тут все из жизни обыкновенного человека дворянской среды: детские годы, образование и воспитание, военная и статская служба.

Рассмотрим некоторые особенности стиля «Записок». Отметим, что Болотов и Державин постоянно используют смену стилей – от подробного описания какого-нибудь предмета или явления, присущего научному или публицистическому стилю, до простого диалога, характерного для разговорной речи. Исследователь А. Ю. Веселова называет это переключением стилистического регистра [3]. Можно выделить несколько стилей, к которым в той или иной ситуации обращаются авторы.

Во-первых, это стиль, близкий документальному или научному, точнее, его научно-популярному «подстилю». К нему можно отнести описания географического и природного характера, описания любопытного явления или случая, описания обычаев, ремесел, описание самого человека, его портрета, атрибутов его одежды, формы. Так, в рассказе о Кенигсберге от взгляда Болотова не ускользает ни одна мелочь, ни одна деталь, которая могла бы быть интересна «любезному читателю». Автор устраивает для него как бы экскурсию по городу, отличающемуся от Российского и жизненным укладом, и архитектурой, и даже церквями или «кирками» с их остроконечными шпилями: «...дома у них, а особенно в лучших частях города, очень тесны и беспокойны; редкий из них занимает сажень пять в ширину, а большая часть не более сажень двух или трех шириной, и притом все покои в оных имеют окна в одну только сторону, и очень немногие освещены тремя окнами, а по большей части в них по два окна, ибо обе боковые стены, по причине сплошного строения у них обыкновенно глухие.

Ходьба и езда по городу довольно спокойная, потому что все улицы вымощены диким камнем и мостовая сия содержится всегда в хорошем состоянии. В ночное же время, а особенно осенью и зимой, освещаемы бывают все улицы фонарями» [2, т. 1, с. 217]. А вот как описывает Державин новую военную форму, пошитую по прусскому образцу. «Будучи в мундире

Преображенском, на голстинский манер кургузом, с золотыми петлицами, с желтым камзолом и таковыми же штанами сделанном, с прусской претолстой косой, дугой выгнутой, и пуклями, как грибы, подле ушей торчащими, из густой сальной помады слепленными» [7, с. 38].

Говоря о стилевой авторской индивидуальности Болотова и Державина, нельзя не заметить, что их подходы к описанию того или иного факта несколько разнятся. И здесь важно, как подметил Ю. И. Минералов в книге по «теории художественной словесности», посмотреть «на личный стиль как на целенаправленно меняющийся живой феномен, понять основное направление этих изменений», что «значило бы получить немало свежих данных о природе самого стиля» [10, с. 19]. Если пример из Болотова – свидетельство стремления к объективности, документальности повествования, то пример из Державина выдает явно негативное отношение к военной форме, в которой необходимо было служить. Все сравнения, эпитеты носят выражено субъективный характер. В таком виде Державин щеголял (как удержаться от возникающего у читателя «портрета» молодого военного – А. К.) перед московскими жителями, поражая их необыкновенным странным нарядом, который казался «весьма чудесным, так что обращал на себя глаза глупых» [7, с. 38].

Не менее любопытны в «Записках» и описания событий, связанные с историческими личностями, к примеру, с императрицей Екатериной II, немкой по рождению, успешно правившей Россией с 1762 года почти до конца XVIII столетия. Болотов впервые увидел Екатерину в Москве во время ее коронации. Выход императрицы, обставленный с большой театральностью, произвел на автора неизгладимое впечатление: «Но ничто не могло сравниться с тем прекрасным зрелищем, которое представилось нам при сходе императрицы с красного крыльца вниз в полном ее императорском одеянии и во всем блеске и сиянии ее славы. Весь придворный ее штат в богатейших одеяниях последовали за оною, а перед нею шествовали разные чиновники и кавалергарды в их пышном и великолепном убранстве. <...> Шла она весьма тихим шествием в порфире и большой короне, и глаза всех и каждого устремлены были на оную» [2, т. 2, с. 9].

В данном отрывке Болотов делает упор не конкретно на портрет императрицы, а больше на помпезность и важность происходящего на его глазах события. Отсюда детали, относящиеся более к описанию самого действия: «*трикратный*, беглый огонь из ружей от всего стоявшего в параде войска; звон великого множества колоколов» [2, т. 2, с. 9] (здесь и далее выделено мной – А. К.). А звук от большого колокола был настолько сильным, что «казалось, будто от него тряслась вся Ивановская башня, и многие боялись даже, чтобы она не упала» [2, т. 2, с. 9]. С одной стороны, автор «Записок» описывает общий патетически возвышенный строй всего происходящего, называя эти минуты для всех «восхитительными», но, с другой – не может удержаться от доли иронии, которая сквозит в последних строках. Текст насыщен оценочными эмоциональными эпитетами: *прекрасное, пышное, великолепное*. Во всем *блеске и сиянии* ее славы. Если справедливо утверждение А. М. Пешковского, что «человек – это стиль», а «стиль – это

мелодия» [10, с. 225], то использование Болотовым интонационных элементов является одной из важнейших особенностей его индивидуального стиля.

В «Записках» Державина мы тоже не увидим какого-то художественного описания лица Екатерины, ее глаз, походки, голоса. Даже при первой встрече с императрицей, посвятив ей свою «оду Фелице, напечатанную в Собеседнике», Державин остается верным себе, и мы не встречаем в тексте не то что комплиментов в адрес императрицы, но даже маломальских скупых сообщений о ее персоне. Все очень строго и лаконично. «Коль скоро я в кабинет вошел, то, пожаловав поцеловать руку, спросила, какую я имею до нее нужду» [7, с. 126]. В данном случае Державин, кажется, еще более лапидарен, чем Болотов. Однако причины такого «невнимания» к внешности императрицы кроются не в «небрежности» мемуаристов, а в тех канонах-правилах, которые были уместны в таком жанре, как *описание венчанной на царство*.

Совсем в иной ключе подаются события, связанные с народным выступлением под предводительством Емельяна Пугачева. Болотов и Державин посвящают немало страниц пугачевскому «мятежу». Державин лично, по собственной инициативе принимал участие в секретной миссии по поискам «злодея Пугачева». Что же до Болотова, то он, как человек сугубо гражданский, мог лишь по слухам судить о разгорающемся народном волнении. Здесь мы имеем дело с описанием событий, свидетелем которых сам автор не был, но черпает свою информацию из других источников: из книг, архивных материалов, слухов, из рассказов других людей, бывших участников того или иного события.

Один из ярких примеров такого описания – пересказ событий, происходивших в зараженной чумой Москве. Что происходило на самом деле в Москве, А. Т. Болотов не видел, но «по письму одного самовидца, имевшего в сем бедствии личное соучастие», мог представить всю картину случившихся там событий. В данном случае автор не идет по пути скрупулёзного изучения исторических документов, а доверяется рассказу человека, ставшего свидетелем тех событий. Болотов понимает, что его повествование не отличается объективностью, ибо построено на чувствах и эмоциях человека, «имевшего в сем бедствии личное соучастие» [2, т. 1, с. 453]. Однако автор сознательно передает его историю во всех мелких ее подробностях. «Ехав по улице ночью, какое мы видели зрелище! Народ бежал повсюду толпами и кричал только: «грабят Боголюбскую богоматерь!» – все, даже до ребенка, были вооружены! Все, как сумасшедшие, в чем стояли, в том и бежали, куда стремление к убийству и грабительству влекло их» [2, т. 1, с. 453]. Используя непроверенные и не задокументированные факты, вместе с тем, Болотов добивается ощущения исторического правдоподобия.

Этот авторский прием Болотов применяет и в рассказе об охвативших Россию крестьянских волнениях под предводительством Емельяна Пугачева. Как и в первом примере, автор пользуется не проверенными фактами, а доходившими до него слухами: «о невероятных и великих успехах злодея Пугачева, а именно, что он со злодейским скопищем своим не только разбил все посыланные для усмирения его военные отряды, но, собрав превеликую почти армию из бессмысленных и ослепленных к себе приверженцев, не

только грабил и разорял все и повсюду вешал и злодейскими казнями умерщвлял всех дворян и господ, но взял, ограбил и разорил самую Казань и оттуда прямо будто бы уже шел к Москве, и что самая сия подвержена была от соумышленников с ним ежеминутной опасности» [2, т. 1, с. 482].

В обоих примерах автор и повествователь полностью совпадают друг с другом. Болотов стремится донести до «любезного читателя» факты, запечатлеть которые «свидетельскими показаниями» принципиально важно. Поэтому Болотов не боится вводить в повествование постороннего рассказчика. Выражаясь языком Андрея Тимофеевича, это позволяет ощущать «в высоком градусе» саму жизнь, чувствовать биение ее пульса. О поимке Пугачева Болотов узнал, находясь в Москве. Андрей Тимофеевич переводит повествование с разворачивающихся когда-то и где-то далеко событий в настоящее время: «Москва вся занималась в сие время одним только Пугачевым. Сей изверг был уже тогда в нее перевезен, содержался окованный в цепях, и вся Москва съезжалась тогда смотреть сего злодея, как некоего чудовища, и говорила об нем. Над ним, как над государственным преступником, производился тогда, по повелению императрицы, формальный и важнейший государственный суд, и все не сумневались, что он казнен будет» [2, т. 1, с. 511]. Так, Болотов и Державин сталкиваются с именем Пугачева, причем каждый по-своему его воспринимает. Судьба предоставляет возможность обоим своими глазами увидеть человека, сумевшего поднять и всколыхнуть бесправную часть населения России. Правда, в грозном некогда злодее мемуаристам было уже трудно узнать человека, заставившего всех о себе говорить и себя бояться. И в этом не было ничего удивительного.

Перед Державиным *Емелька* предстал сразу после того, как его предали свои же товарищи. Он был подавлен и сломлен: «Через несколько минут представлен самозванец в тяжких оковах по рукам и ногам, в замасленном, поношенном, скверном широком тулупе. Лишь пришел, то и встал перед графом на колени. Лицом он был кругловат, волосы и *оборода окомелком*, черные, склоченные; росту среднего, глаза большие, черные на *соловом глазуре*, как на *бельмах*. Отроду 35 или 40 лет. Граф спросил: "Здоров ли Емелька?" – "Ночей не сплю, все плачу, батюшка, ваше графское сиятельство". – "Надейся на милосердие Государыни", и с сим словом приказал его отвести обратно *туды*, где содержался» [7, с. 60]. Так слух о злодее *Пугачеве* в воспоминаниях Державина материализуется в портрет *Емельки*, который предан своими и теперь жалок. Он описывается подробно, потому что страшные его деяния явно контрастируют с обликом того, кто мнил себя всесильным и посягающим на святая святых государства.

Болотов же видел Пугачева перед самой казнью, на болотной площади, окруженной «тесным фрунгом войск». Привезенный в открытой повозке, «дабы весь народ мог сего злодея видеть», Пугачев стоял в «длинном нагольном овчинном тулупе, почти в онемении, и сам вне себя, и только что крестился и молился» [2, т. 1, с. 514]. «Вид и образ его показался мне совсем несоответствующим таким деяниям, какие производил сей *изверг*. Он походил не столько на зверообразного какого-нибудь лютого разбойника, как на какого-либо *маркитантишка* или харчевника *плюгавого*. Бородка небольшая, волосы включенные и весь вид, ничего не значащий и столь мало похожий на

покойного императора Петра Третьего, которого случилось мне так много раз и так близко видеть, что я, смотря на него, сам себе несколько раз в мыслях говорил: "Боже мой! до какого ослепления могла дойти наша глупая и легковверная чернь, и как можно было *сквернаваца* сего почесть Петром Третьим!"» [2, т. 1, с. 514].

Как видим, это описание отличается от предыдущего примера с императрицей четким и подробным описанием внешности Емельяна Пугачёва. Возникает вопрос, почему императрица в разных обстоятельствах не удостоивается такого конкретного изображения, а бунтовщик и разбойник представлен детально? Несомненно, на характер изображения накладывает отпечаток сам объект описания. Канон создания образа верховной власти выдержан Болотовым и Державиным даже там, где авторы могли отразить «свои впечатления», но не сочли это уместным. С другой стороны, Пугачев интересен как тот, что дерзнул посягнуть на трон, более того, он не только не высшего сословия, не дворянин, а тот, кого можно и должно и рассмотреть, и даже постараться «изучить».

Действительно, Болотов и Державин, давая портреты Пугачева, разъясняют свое внимание к нему, и в этом внимании оба писателя единодушны. В своей собственной индивидуальной манере мемуаристы не только скрупулёзно выписывают какие-то особые детали его лица или одежды, но и передают его психологическое состояние, давая исчерпывающую оценку его действиям. Так Державин обращает внимание на замасленный поношенный тулуп *Емельки*, его *всклоченные* бороду и волосы, глаза, *как на белъме*. Болотов сравнивает *изверга* с *маркитантишкой* или харчевником, отмечая, что он в «онемении, и сам вне себя».

Вместе с этим, в описании портрета «злодея Пугачева», Болотов и Державин используют лексику из народного обихода. В словаре Академии Российской эти слова представлены как просторечные, простонародные. В. В. Виноградов считал, что их можно рассматривать как «стилистическую категорию разговорно-бытовой, фамильярной речи высших классов, не приспособленной к "светскому" этикету» [4, с. 380]. У Болотова это такие слова, как *скверновца*, (от сущ. *Сквернословец* – тот, кто говорит неблагопристойные и противные речи), *плюгавого* (от пр. *плюгавый*, *мерзкий*, *невзрачный*, *дрянной*); у Державина – *туда* (нар, *туда*, в то место, в ту сторону), *окомелком* (от сущ. *окомелок* – метла или голик, обившейся от употребления), *бельмах* (*бельмо*, мн. -а и -ы, лазерное бѣльмо (глаукома); простонар., глаза), *соловом* (от пр. *соловый*, о лошадях, имеющих шерсть светло-желтую, и хвост и гриву белую) *глазуре* (от сущ. *глазура*, *глянец*) [12].

Обратим внимание на простоту слога Болотова и Державина. Ориентируясь на «живое употребление», на разговорный язык, авторы сводят к минимуму в тексте использования славянизмов. А те, что встречаются – например, *изверг* (злодей, человек, заслуживающий быть изверженным из общества), придают тексту особую интонационную окраску. Мы не видим в тексте пышной риторики, красивых фраз – все очень точно и лаконично. Авторы подбирают слова для изображения действия, характера, каких-то деталей, опираясь на народно-разговорную лексику, но при этом не опускаются до языка низких жанров, соблюдая разумный баланс между

низким и высоким стилями. Так, Болотов использует в своих текстах слова *скопищем* (от сущ. *скопище* – сборище, толпа), *окованный* (от гл. *оковывать, налагать цепи*), характеризуя самих восставших и описывая «изверга» Пугачева. Включение в текст заимствования *маркитантишкой* (*маркитант*, от нем. *Marketender, торговец*) только усиливает эффект негативного отношения автора к своему персонажу.

Для Болотова использование в «Записках» живого разговорного русского языка – это не только свободное употребление просторечных слов и выражений, но еще и поиск, освоение богатств разговорного языка. Тут и идиомы и афоризмы, обороты и определения, с помощью которых можно точно и метко ухватить суть передаваемой мысли. Потому в мемуарах так много поговорок, пословиц, народных выражений.

Приведённые примеры использования простонародной и разговорно-бытовой лексики в «Записках» Болотова и Державина показывают одну из важнейших тенденций в формировании русского литературного языка во второй половине XVIII столетия. Они говорят не только о богатстве и разнообразии народно-речевых средств, но и о характере устной речи, ее отражении в письменном языке, то есть о том направлении, по которому шло становление общелитературной нормы русского языка на народной основе. Просторечная лексика в силу своего экспрессивного начала и эмоциональной окрашенности выступает в тексте «Записок» как мощное стилистическое средство языка.

Отбирая «простонародные» слова, наиболее емкие в смысловом отношении и наиболее стилистически выразительные, Болотов, как и Державин, объединяет их в единое целое с «нейтральными» и книжными языковыми средствами, в результате чего и появляется тот особый, точный и емкий, болотовский язык художественной прозы. Можно сказать, что, подвергая просторечные слова и выражения строгому качественному и количественному отбору, А. Т. Болотов руководствовался принципом «исторической народности». Применяя этот принцип к творчеству А. С. Пушкина, А. И. Горшков в своих лекциях по русской стилистике пишет, что «принцип исторической народности позволил последующим писателям вполне сознательно осваивать богатства разговорного языка во всех его разновидностях» [5, с. 253].

Из всего сказанного следует, что А. Т. Болотов являлся не только собирателем «сокровищницы языка», а был подлинным реформатором, оказывая своей прозой влияние на развитие литературного языка второй половины XVIII столетия и на формирование мировоззрения для будущего поколения писателей.

Список литературы

1. Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского [Текст] / М. М. Бахтин. М. : Сов. писатель, 1963. – 364 с.
2. Болотов, А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова описанные самим им для своих потомков. 1737–1774 [Текст] / А. Т. Болотов. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1988. – Т. 1. – 526 с. – Т. 2. – 527 с.

3. Веселова, А. Ю. Архив частного человека: проблема типологии [Электронный ресурс] / А. Ю. Веселова. – Режим доступа: <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/klubkov60/veselova.html> – Дата обращения: 23.07.2013. – Загл. с экрана.
4. Виноградов, В. В. Язык Пушкина [Текст] / В. В. Виноградов. – М. : Academia, 1935. – 454 с.
5. Горшков, А. И. Лекции по русской стилистике [Текст] / А. И. Горшков. – М. : Изд-во лит. Инст. им. А. М. Горького, 2000. – 272 с.
6. Гуковский, Г. А. Г. Р. Державин [Текст] / Г. А. Гуковский // Державин Г. Стихотворения. – М. : Сов. писатель, 1947. – 308 с.
7. Державин, Г. Р. Избранная проза [Текст] / Г. Р. Державин. – М. : Сов. Россия, 1984. – 400 с.
8. Записки Г. Р. Державина. 1743–1812. С литературными и историческими примечаниями П. И. Бартенева [Текст]. Издание Русской Беседы. – М. : Типография А. Сомена, 1860 – 502 с.
9. Лазарчук, Р. М. Проза Радищева и традиции эпистолярного жанра [Текст] / Р. М. Лазарчук // XVIII век. Сб. 12. А. И. Радищев и литература его времени. – Л. : АН СССР, 1977. – С. 72–82.
10. Минералов, Ю. И. Теория художественной словесности [Текст] / Ю. И. Минералов. – М. : Владос, 1999. – 360 с.
11. Сакулин, П. Н. Филология и культурология [Текст] / П. Н. Сакулин. – М. : Высшая школа, 1990. – 376 с.
12. Словарь Академии Российской [Текст]. Т. 1 – 6. – СПб. : Изд-во Имп. Двора, 1789–1794.
13. Степанов, И. Л. Дружеское письмо начала XIX века [Текст] / И. Л. Степанов // Степанов Н. Л. Поэты и прозаики. М. : Художест. литература, 1966. – С. 73– 94.

CHARACTERISTICS OF INDIVIDUAL STYLE IN THE “NOTES” OF A. T. BOLOTOV AND G. R. DERZHAVIN

A. E. Kuznetsov

Literary Institute named after A. M. Gorky
The department of classic Russian literature and slavic

"Notes" of A. T. Bolotov are considered in an article in the context of the tradition of the epoch epistolary genre. Existing conceptualization about Bolotov like prose-writer are expanded due to careful study of writer's style, having a significant impact on the development of literary language in Russia as well as the formation of autobiographical prose and memoirs in Russia. A comparative analysis of the works of A. T. Bolotov and "Notes" of Derzhavin, similar in spirit and genre, not only helps to identify common traits characterizing literary process of the 18th century, but also individual style of his prose.

Key words: *A. T. Bolotov, G. R. Derzhavin, autobiographical prose, individual style, language, style peculiarities*

Об авторах:

КУЗНЕЦОВ Александр Евгеньевич – соискатель кафедры русской классической литературы и славистики Литературного института им. А. М. Горького (123104, Москва, ул. Тверской Бульвар, д. 25), e-mail: smit@tula.net